

В ЛЕСАХ

Из дневника

23 февр., 18.. г.

Завтра, послезавтра — всему конец... Страшно начать новую жизнь, страшно отречение, но нет иного выхода! С самого детства шел по одной дороге, к одной цели, все построил на ней и вот теперь сразу и круто поверну на другой путь, к другой цели... К какой — я не знаю, но я не могу и не смею остаться здесь... Господи! Прости меня! С сердцем чистым и незлобивым заповедал ты стоять у святого престола твоего!.. Где же оно у меня, где незлобие, где безмятежная ясность духа? Нет и не будет, и не может быть!

Как я не думал, не проверил себя прежде? Боязливый, неумеющий, как я пошел сюда, пошел, чтобы быть священником, учителем?.. Я шел искренно... Еще в детстве, в темные осенние вечера, когда я стоял на коленях в полусумраке храма, слабо и грустно освещенном восковыми свечами и обвеянно тишиною и звуками вечернего служения, кротостью слабого голоса священника, шорохом и вздохами темных рядов молящихся, — я всей душой повторял покаянно-трогательное пение: «Благословен, еси, господи, научи мя оправданием твоим»... и отдавался мечтам о будущем, о великом деле пастыря... Помню, рисовалось мне далекое время... снились катакомбы, долгое ночное бдение, истомленно-просветленные лица первых христиан... Как значителен и прекрасен был тогда тихо-радостный возглас: «Слава тебе, показавшему нам свет!» — на заре с первым блеском солнца, после трудной молитвенной ночи!.. Я сохранил эти впечатления детства, они невидимо поддерживали веру в мои стремления, но теперь только понял я, сколько для служения богу и людям нужно других впечатлений — сколько нужно силы и цельности!..

Отказаться, отказаться лучше!

Где мне! Сколько дней не могу забыть этих похорон?..

Жена не знает меня. Мы живем вместе только несколько месяцев. Но и в будущем — разве мы пойдем друг друга? Как она удивится, когда придет завтра, как будет растеряна! И я не сумею объяснить ей своего состояния. Она добрая, она простит; даже поймет, может быть, — только не сердцем. Ей будет странно, дико мое решение... Но что же делать, что? Я одинок здесь, одинок и с нею, и среди народа, и среди этой местности... В городе, в новой жизни, мне, может быть, будет еще тяжелее, но спокойнее.

Мертвая тишина в моей избе. Так безмолвно, что я слышу, как шипит керосин в догорающей лампочке... На дворе — ночь теплая, но сумрачная, — идет мокрый снег; на деревне — ни одного огня, трудно и вообразить, что есть жив человек в этих нескольких хижинах, занесенных метелью... Тихо гудит обступивший ее, побелевший лес... И я представляю себя самого и мою избу в этих лесах, и мала, и одинока, и беззащитна кажется мне она под их темными ветвями, тяжело заваленными снегом!

Кто знает — попади я в другую местность, мне, может быть, было бы легче. Но меня тяготят эти леса. С первого раза, когда я только сошел на станции, чтобы около нее отыскать свою деревушку, у меня сжалось сердце: все было черно, сумрачно кругом — обнаженный почерневший лес, мокрые черные дрова на местах вырубленных, черные ложбины, где выжи-



БУНИН

Фотография О. Ренара. Москва, конец 1890-х — начало 1900-х годов

С автографической подписью Бунина

Центральный архив литературы и искусства, Москва

гали летом угля, тесовая крыша мокрой избы лесорубщика... Только холодное небо и облака, белым дымом бегущие по нем, освежали картину.

Народ не понравился мне белыми зипунами, белыми бараньими треухами, белорусским жалким говором. Он был чужд мне сперва, а потом... Я нашел великую темноту невежества, бедность поразительную, жалкое подобие земледелия на болотных прогалинах лесов, лихорадки, колтун, цингу... И убедился — теперь особенно, что я здесь... только хоронить могу!

Страшное слово! Я и прежде боялся его, а теперь произношу с темным ужасом, не смею вдуматься в него... Это единичный случай, самый обычный, естественный, даже не случай это... что я говорю? Какой же может быть, боже мой, случай в смерти, в будничной смерти? — А я не умею забыть...

Приехали за мной поздно вечером. Меня с рождества измучили слухи, что кругом пошла горячка, измучили ежедневные посещения с просьбами о помощи, когда мне самому едва хватает на черный хлеб. Нервы были расстроены предварительно. Я уже ждал, что вот-вот меня разбудят ночью и я поеду читать отходную... Поэтому, когда за окнами залаяли овчарки и заскрипели подъехавшие сани, я оторопел... Я с беспокойством бросился искать шапку...

Так и случилось.

Дверь распахнулась, и в волнах холодного пара поспешно вошел мужик. Он обил лапти, сдернул треух и остановился у порога.

— Что ты? — спросил я машинально, уже совсем готовый.

Он тряхнул несколько раз головою, словно хотел очнуться от дремоты, оглянулся — не натоптал ли лаптями, повернулся, взялся за скобку — притворил ли двери...

— Ты что? — повторил я нетерпеливее.

— К твоей милости, брат помирае...

А я уже не слушал, я с бьющимся сердцем натягивал полушубок, и во всем теле у меня дрожало такое ощущение, словно я бросаюсь в пропасть...

Мне стало стыдно, когда мы поехали, я словно поймал себя на простой жалкой трусости. Я старался быть покойным. И действительно — затих. Я сидел как в полусне. Ехали по лесу. Помню, как было морозно и ярко в нем. Весь он, холодный, тонул в лунном свете. Стройными колоннами замирали мачтовые деревья, и серебряные верхушки их легко и фантастично уходили в зимнее небо. Высоко, над самой дорогой, стоял полный месяц. Белые облачка плыли, освещенные, мимо него и порой, расступаясь, глубина неба казалась среди них темно-темно-синюю и такую глубокою.

Помню, что мужик несвязно толковал про волков, — «стадами ходят», — говорил он, и я вздрагивал, принимая иногда нашу собаку за волка, когда она вдруг выскакивала из таинственно светлых и темных дебрей снежного леса и замирала вместе с своею черною тенью на ярко-озаренной дороге...

Я вошел в избу... Большой был в беспамятстве, как бы истомленный вконец знойным и тяжелым сном. Страшно изнуренное лицо было уже как у покойника... Тихо и с трепетом начал я молить... Напряженная тишина замерла в избе. Ребятишки с расширенными глазами пугливо глядели с темной печи — и застыли... Большой вдруг открыл глаза, и они засветились в полутьме... Потом закрыл... Не помню, как я вышел из избы...

Лунная, мертвая ночь в лесу, тени от бегущих саней, от деревьев... больной, изба, ребятишки — все мешалось в моих мыслях. «Отходную могу только прочитать, — думал я чаще всего и с напряжением, — неужели только?»

Ночь до рассвета тянулась долго. Я плохо спал... Вечером я опять ездил туда, а на третий день хоронил.

Как удивительно я запомнил все, как живо в душе это воспоминание!.. Опять я ехал по лесу; садилось зимнее солнце... Еще чище, яснее, серебряно-матовее замирал морозный лес на фоне зеленоватого неба. Солнце садилось, и я помню, помню, как в избе оно одним золотым, парчовым лучом косо проникло в низкое оконце и освещало желтый лоб покойника, лежавшего на лавке под святыми. Как великолепно и ужасно это было!

А наутро резкий ветер обжигал лицо морозом и весь воздух был наполнен миллионами морозных блестков. Снег визжал под санями, как алебастр, и еще зеленее и холоднее рисовалось небо над лесами. Я ждал, закутанный,

на крыльце и промерз до костей, пока увидел наконец среди белой улицы белые зипуны мужиков и всего ярче — белый гроб. Он был открыт — ледяной ветер развевал волосы покойника. Маленькая церковка наша вся промерзла до самого побелевшего иконостаса — и особенно резко застучали в ней наши шаги. Одно солнце, золотым лучом проникая в придел, освещало убогое великолепие храма. И от холода и боли сжалось во мне сердце, когда потекли струи фимиама, и дрогнул голос при первом звуке молитвы! Слезы мои падали на антиминос, и чаша с дарами во мгновение примерзала к устам, обжигая их...

28 февр.

Ничего, кажется, уже 28... Где буду в марте, где буду через год, через два, через десять — не знаю. Все равно. Не хочу и глядеть вперед. Грустно мне только, грустно, как давно не было!..

Все еще один, и болезнь моя, и тишина в доме погружают меня иногда в забытье. Тогда лучше. Под вечер, когда один-одинешенек лежу в постели и свет позднего солнца наполняет всю комнату, на душе даже хорошо становится. Я думаю...

— Ах, да нет! — Как изменилось все кругом! Шумно, в блеске солнца уже идет по лесам мартовский, свежий, веселый ветер. И леса почернели, но по-весеннему, по-новому. По-весеннему, ослепительно блестят покрытые золотой слюдой снега. Тает, весна!.. И скоро еще веселее и роскошнее будет в лесах — зашумят березы, налетят птицы — когда же, наконец, когда придут сюда люди?

<1893—1895>

«Орловский вестник», 1895, № 151, 11 июня. Подпись: Ив. Бунин.

Воспроизведено (со значительными неточностями): «Радуга», 1968, № 9.

В 1893 г. Бунин предложил этот рассказ в «Мир божий». 6 ноября 1893 г. издательница журнала А. А. Давыдова писала ему: «Очерк ваш „Из дневника священника“ я вам отослала. К сожалению, он нам был неподходящий. Очень он, голубчик мой, отрывочек, — простите за откровенность, — на меня произвело впечатление, что это неоконченная вещь. А задумано — чудесно! И следовало бы вам поработать над ней» (ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 97, л. 1). Был ли рассказ переработан после этого, неизвестно.

О МИЛЫХ ЛЮДЯХ

В юности, читатель, меня очень интересовали дураки...

Не улыбайся, — право о них стоит подумать... Да, так вот я говорю, они очень занимали меня. Я с одинаковым удовольствием любовался и на старых, и на молодых, и на толстых кретинов, и на худых, долговязых идиотов. Мне нравилось наблюдать, как старый дурак постоянно гордится тем, что он женат и что он чистокровной породы; как он любит подарки, мятные пряники и произведения искусства — в часы досуга; как он всем дает понять, что он если и не блещет красотой теперь, то еще очень представительен. Нравилось мне, как гордился молодой дурак, говоря, что у него вся жизнь впереди, то есть, что он тоже будет женат и будет любить пряники и прибавит народонаселения...

Да, я любил их, читатель, любил до того, что даже не пренебрегал дурачками-отроками, теми милыми мальчиками в нечищенных сапогах, у которых карманы панталончиков набиты грязным носовым платком, перочинными ножами, резинками, крошками хлеба и у которых такой изуми-